



18+

Татяна Чурус

**Чуров род**

«Автор»

2017

**Чурус Т. Ю.**

Чуров род / Т. Ю. Чурус — «Автор», 2017

В романе, система художественных средств которого сближает его с фольклорной стиховой культурой, прослеживается метасюжет о судьбе поэта.

© Чурус Т. Ю., 2017

© Автор, 2017

*Тетушкам – наставницам терпеливым –  
Вере Петровне и Анастасии...*

*Часть 1. Коченёво*

Коченёво?..  
Почему Коченёво?..  
Коченёво не спорченное?..  
Коченёво не замученное?..  
Коченёво не заученное?..  
Коченёво бесконечное?..  
Коченёво!..  
Кочерыжкой в кочане,  
что мыслишка в голове,  
засел-л-ло-о-о!..  
Ай да славное село-о-о!..  
Запел-л-ла-а-а!..  
Не стерпела-а-а!..  
Коченёво моё, что кочерыжка в кочане:  
ишь, кочевряжится – не выкорчуешь...  
чуешь, Коченёво... вон!..  
Коченёво да Коченёво...  
А почему бы и нет?..

Тень над Чуровым домом... Чуров дом одинокий шурится оком-окном бездонным...  
Чуров дом маяком маячит: куды ни пойдёшь – всё к нему и свернёшь, а и не сворачивай  
– ноги сами несут, эка невидаль!

Бабы-то нашенски, коченёвские, так-таки и сказывают: дескать, дойдёшь до Чурова-то  
дома, а там... матушки!.. Или ишшо так язычинами-то сучат: от дома, слышь, что самого  
Чурова-Расчурова почитай столько-то метров (кто-то там понамерил, ишь!) да полстольки...  
метров...

Темень, не темён – Чуров дом что кремень... кремень немеркнувший...

За Чуровым за домом лишь речка, Кочумаевка, – ничего боле и нет (да и быть не бывало),  
но туда девчонкам ходить не велено белыми ноженьками, да по-за водицу... там...

– Девицам-то, да по-за водицу? – вот баушка Чуриха глаз счурит-сощурит – девчонок,  
что холст, побелевших страшает-пугает! – А вода-то нехорошая, мёртвая вода, лежалая! – и  
пойдёт всё прибаутками да присловьями разными! – Чур-чур-чур вас, девоньки! – и окрестит  
перстом окоченевшим: страсть! А только пуще всех Катюшка наша дрожит, что листочек осин-  
нов, колышется! – Там Цвирбулин живёт – он вас сейчас и заберёт... уж он печку-то топит-  
топит... одне косточки-то в Кочумаевке и утопит... анадьсь вдовица пошла по водицу, да к  
речке, да к Кочумаевке – окочурилась, как есть, вот те истый крест!

А уж Катя-то наша очи закатывает: уморила старуха старая девицу, извела речами сво-  
ими, затопила! Топит-топит печку Цвирбулин на речке на Кочумаевке... топит-топит в речке –  
в водице вдовиц да девиц... ой и жалко утопленниц, шибко жалко, ажно пот прошиб... Бежит-  
бежит Катя-то наша от речей от тех чёрных-страшных, бежит-поспешает...

Ой и заберёт-заберёт её Цвирбулин, заберёт... за берег за бережок... сбережёт... А и то  
ладно, и то хорошо...

За порожек – по-за праг – по-за пражек жар-птицею прыг!

А гарпии парят в Праге ли?.. Отрясают прах с денниц своих денно и́ ношно?..  
А дриады рдеют в Адриатике?..  
А Венера в Неве нирванно-ванно пенится песнею?..  
Посыпохивает посыпом Катя наша, всхрапом всхрапывает...  
Ой нейди, нейди за праг, не выпорхни – а не то всполохом что всполошком всполох-  
нёшь... шь... шь...

Онемела Катя, поутихла, поуспокоилась – и сейчас ну русалок рисовать розовых!

Тётки ей, Катьше-то нашей:

– Нешто русалки-то розовыми бывают-плавают?

А Катя языкастая:

– А вы никак видали их? – и смеётся-заливается смехом раскатистым!

Быть-то бывают: розовые, румяненные... сейчас из печки и вышли... Э-эх, чем бы дитятко ни тешилось, лишь бы штиль был... И лыбится, балахмыстная...

А баушка Лукерья тихо-о-охонько так прокрадётся к потрету мужа свово покойного, головёнкою покачает, пригорюнится: дескать, эвон оно как, Чурушко! А после вздохнёт, ручонкой сухонькой эдак махнёт старушка – и зашаркала чуть слышно по́ полу, ровно скребётся кто, какой поскрёбышек. А дедушко Еким блаже-е-енно вослед ей улыбается! Всё улыбается, сердечный, да улыбается! Екимушко – добрая душа... родимая головушка... но тшш... тшш... шшш... никак баушка Лукерья...

– Ты глянь-ка, Чурушко, что деется-то, а? А!.. Что, Чурушко? Аль спокой твой нарушила? Аль чуешь, Чурушко, что́ ушкбм? Уж ты, Чурушко, муж мой обручённй-наречённй! Научи ты мене, Чурушко, шепни на ушкб како словцо... – и пошла, пошла причитать да кручиниться! – А Катьша-то что учинила-удумала... А Гальша-то... А Авдотьяца... А Гланьша-то... – и всех-то помянет баушка Чуриха, вдовица безутешная...

Начались пиры, полились меды, да не туды! Мать твою растуды!

Бабы нашенски, коченёвские, ну чокаться – стопочка за стопочкой, пьяным-пьянёшеньки, в у́пьянь упились – смехом-хохотом залились!

Тислины – были, Кобылины – были, Бурковы – были, Чуудиновы – были – все были, почитай всё Коченёво – конца-краю несть! (Одного Цвирбулина и не было, антихриста!)

И Чуровы – были: баушка Чуриха – сама была (опосля пришла), девки Чуровы – Авдотьяца и Гланьша – были, да меньшая ихная сестрица – была, девчонки Чуровы – Гальша да Катьша – были... А Катьша-то что учудила, а-а! Обмоталась простынёю льняною, ровно хитом, хивря, накидушку с подушки на голову нацепила – и за стол – Царица Небесная! – невестою мнимой воссела, да Косточку свово одесную и усадила: тот глаз стыдливых даже не поднял! Жених нерадивый!

А Нюрка-то Рядова чинно восседает – а уж что наряжена-ображена-то! – рядом да со своим суженым-ряженым!

Бабы нашенски, коченёвские, ну судить-рядить об рядовском женихе, а тот посиживает себе – ни жив ни мёртв, – почитай что колтун какой заглотив, Нюрку за локоток попридерживает. Пора уж и пир пировать – ан баушка Чуриха всё не поповыйдет: чтой-то призамешкалась.

Шумят бабы нашенски, коченёвские:

– Неча и повыжидать ей – зачнём – а там будь что было! – и рукой машут, бабы-то нашенски, да поразмыслив чуток, и бают: – А нешто и Катюшку бы отрядить: баушку встренуть-сопроводить? – шамкают беззубым ртом, матроны нашенски, почитай что все коченёвские, на веночек на Катюшкин поглядывают беленький бельмами своими стра-а-ашными... А под тем под веночком беленьким, что сплела наша голубушка рученьками пуховыми, под теми

под кудерьками золотистыми, что веночек обрамляют кольцами, а в той что во буйной головушке мечта обретается девичья: чтоб лежать ей, невестушке, Катеринушке, в подвенечном во платье, да во гробу... Ух и страш-ш-шная мечта – чем-чем, а бельмами не вымотришь... шь... шь... Тш... шш... шш...

Чу! То баушка Чуриха идёт-прихрамывает, ногу приволакивает, вострым посошком по земле постукивает...

Только пир принялись пировати – кудрявая Катя на столе возлегла, длани на перси сложила, дыхание укротила: мёртвой невестой белой предстала пред очесами гостей полупьяных! Экое дивное диво! Да в голос-то заголосила...

– А ну прикуси язычино – не то вырву!

Мать!!! И уж винцо красной рекою – и Катя – белая лебёдушка невинная – склонила головушку...

– Отроковица, не рцы... – Аль то пригрезилось?.. Али в ушах заверещало?.. – Вещи вечные – речи вещие...

А жених-то ихнай, рядовский, то всё сиднем сидел, а то вдруг пропадом и запропал – куды как сгинул! Видали, бают, откель приехал, да не видали, куды и уехал!

Нюрка-то Рядова, хивря, то морду воротила, вихрами крутила – а нонече-то не ведаешь, как и почитать ей: не то мужня жена, не то вдовая вдовица, не то девка-молодица! И к какому краю ей пристать: бабы нашенски, коченёвские, – никшні! – сейчас важничают: ступай, мол, к молодкам... чтоб им пусто было! Родимые мои матушки!

– А здравствуй, баушка Лукерья! А тра-ли-вали-тру-ля-ля!

Старуха открывала окно:

– Ну что орёшь, ровно оглашенный? Людей постыдайся: у тебе вон дочера невесты!

– А здравствуй, милая моя! А можно в домик мне войти!

Отец надрывом надрывается, а баушка:

– Войтить! Куды тебе войтить? – и окошечко хлоп!

– А где ты, дедушка Еким?..

Чуриха, испуганно оглянувшись, в щёлку узеньку поповысунется да ставень-то ручонкой попридьярживает!

– Ты дедушка Екима не трожь, собачье отродие, потому он дом ентот построил! – цедит сквозь зубы старушка: ишь, бузит, ирод! Да окошечко-то сызнава и закроет – и только губы ещё что-то шамкают старушечьи за стеклом – ничегошеньки не слышать – да глаз вострѣхонек на отца-пустобрѣха зыркнет: тот руками размахивает, вот оглашенный... плети плетень – нонече твой день... – Ишь, лопочет, ишь, топочет! Ступай себе, улепётывай, лапотник! Не всплакну! – и оконце ишшо поплотнее прихлопнет, да на полати почивать почапала...

– А баушка Луша, а баушка, послушай... – Шалопай оглашенный: шёл бы, лишай ему в шею, лешему!

– Пошто шарами лупаешь? Ступай в свою халупу, олух!

Ух и пухленькие словечки у баушки у Чурихи: она их что пульки пуляет: так и лупит, так и лупит!

А отец-то, слышь, страдал!.. Но про то един Бог и ведал-знал...

Долго ли сказочке-то, бают, сказываться, а только Катюшка-то ждать не стала: ка-а-ак разбежится да промеж тётками-то и зависнет – хохочет-заливается!

– Катя-Катя, и что это ты делаешь, Катя? – голос в голос дивятся тётки.

А наша-то головушка рада-радѣхонька!

– Я буку энъ деею! – и глядит своим глазом косым то на одну тётку, то на другу: туда-сюда, туда-сюда! Тётки лишь и перемигнутся: и что это, дескать, удумала?

А Цвирбулин тут как тут – черти его несут! Блином масляным в рот лезет-прёт!

– И кто это такой хороший? И кто это такой пригожий? – а у самого глазища, что бельмы, на чумазом от сажи лице, Царица Небесная!

– Я деечка!

– Девочка? – и зыркает своими бельмами: ребёнка заикой оставит!

– Неть, деечка! – Катя ножкой топ, а сама-то глядит-поглядывает искоса на Цвирбулина: тот жмурится часто-часто, точно тискает девчонку глазищами!

– Ладно, куды лезешь, антихрист, мысалы-то сполосни! Туды же! – голосят тётки.

– Дядя Цибулин, а я тебя не боюсь! – ах ты Катя-Катерина смелая!

Тётки на племянницу-то, на неслушницу-то: дескать, вот будешь неслухом-то неслушничать – мы тебе жи-и-иво Цвирбулину и сплавим-отдадим! – и тянут Катю за рукав.

– И правильно, дочка, к чистому грязное-то не пристанет! – А тётки знай пальчиком грозят: допрыгаешься-де, девынька, отдадим, уж как отдадим! А Кате того и надобно: что мысль ихну, ехидная, считывает – сейчас кричит:

– Дядя Цибулин, а когда ты меня забелёшь? – и косится, шельма, на тётки!

– Катитка, а ну-ка цыц! – покраснеют бедные тётки, ровно тебе дурищи какие полоротые! Да нешто Цвирбулин не ведаёт, что им детишек-то коченёвских пугивают? Э-эх, тётки, тётки, наивные трещотки!

– Ой, дядя Цибулин! – вырвется вдруг из тёткиных цепких рук. – Смотри, смотри, домик кўлит! – и обернёт к технику румяненное личико: а довольнёхонька-то! – Ой, смотри, домик газьки закльыл! – а сама хохочет!

– Ладно! – цыкнут тётки. – Ишь, разарлекинничалась! – и тянут Катю, что упором упирается. А техник-то улыбается ей вослед, да ещё и кивнёт: дескать, понял я тебя, малышка, понял! Инда дух захватит у нашей-то головушки пустёхонькой! Только и выкрикнет:

– Дядя Цибулин, а я тебя любанькаю!

Ах ты окаянная, и что удумала!

Дома тётки перво-наперво баушке Лукерье всё про всё докладáют:

– Идём – а он нарисовался! – да, слышь, руками-то размахивают, а раскраснелись что, распунцбвелись, родимые мои матушки! А Лукерья сидит себе посиживает, знай носом клюёт-поклёвывает! Вот и чудится нашей Кате, чадушку неразумному-глупому: клюёт-клюёт баушка Лукерья носом-от, клюёт-клюёт, а после ка-а-к крылья-то вскинёт, да ка-а-ак вскочет – и ну по горнице перекачываться-кочевать: чур-чур-чур-чур-чур, чур-чур-чур-чур-чур!.. И что это, силы небесные, никто-то и не приметит таку-растаку диковину диковинну... И озирается малышка испуганная... ручонками укрывается... Чур-чур-чур... Ох и чудно всё это, ох и чудно...

– ...я, грит, тётка Авдотья... Да кака я тебе тётка, антихрист ты эдакой! Хорош племянничек, неча сказать: на две недели младше тётки! Тьфу, зараза! А эта-то, эта – родимес ей возьми! – лезет на его, насилу и отташшили! Не ребёнок, а...

– Он холосый! – Катитка ка-а-ак вспыхнет... да сейчас и осела, что пришибленная... ох и страшен круглый бесцветный глаз баушки Лукерьи... ох и страшен... страшнее страшного...

– «Холосый»! – это сама баушка Чуриха ртом беззубым прошамкает. – Тебе все хорошие...

– А сколько ему годиков? – осмелится Катюшка, выпросит, на старуху глянет искоса.

– Да старе поповой собаки... сто лет в обед... – и сызнава клюёт-поклёвывает носом баушка.

– Да у его и рожа отродясь немытая: почитай уси дни в саже сидит! – подхватят тётки. – Ты поскобли – да и полюбуйся... Вот ить, пристала, что банный лист к тэзеву... – и зевают сердечные. – И то правда: липнет и липнет к ему липнем! – протяжно эдак, задумчиво! – Ровно чует что!.. А ить он мог бы быть отцом твоим, батюшкой... – только и ахнули тётки... тётка... та, что сказ'вала... словно преступница кака, рот прикрыла ладошкой... ой, Господи... А баушка – зырк:

– Ну-ка, цыц, халды, вешуни проклятушие! Чтоб вам пусто было на том свете!

Да ишь, позднёхонько: тётки уж проговорились – рот раззявили...

Вот ушла старуха – Катя сейчас к тёткам ластится: что да как? Те вину свою чуют – молчком отмалчиваются... Но молчи не молчи – всё одно, прознает девка, проведает, а то ещё, не ровён час, и люди что выболтнут... они такие, люди-то... лихие... с них станется...

– Ну-ка, поди сюды! – тихохонько-растихохонько: это дабы баушка Лукерья пытливая, не приведи Господь, не прослышала! Катя же точно заморожённая – не шелохнётся детинушка! – Матерь-то твоя, Катьша, почитай что первейшая у нас была раскрасавица в Коченёве-то, – зачнут наперебой шептать тётушки, – многие к ей сватались... и Цвирибулин, и отец твой... в пояс кланялись...

– А пошто, тётушки, матушка почтила почётом моего батюшку? Не таите – сказывайте! – А тётки и ведать не ведают, что сказывать: друг на дружку зыркают да кивают головёнками. Тут одна из них – не признать которая – решилася: слово молвила: – Дык... чтобы вы, кровные детушки, на свет божий понародились – знамо пошто... Но тш-ш-шш... никак баушка... И молчок – зубья на крючок... чок... чок...

А ночью слышит Катя, тётки шушукуются: «Шу-шу-шу, и на что ты рассказала-то ей?» – «Да забудет она: дитё малое, неразумное, будто понимает что?..»

А Катя-то наша понимала, всё про всё как есть понимала, головушка... только речи-то тётушкины сказочными ей слышались, диковинными какими виделись... А и голоса у тёток ровно бархатом высланы: низкие, журчащие, ворсистые, мясистые... да и поди распознай, которым голосом кака тётка разговаривает?.. То-то! Вот точно сливаются голоса те в един большущий поток-поточище, Катитку нашу махоньку баюкают... Да и сами-то тётки! Ну что пёстрые птицы волшебные – и понадето на них, поназдёвано всё-то чудное, пышное... И волосы у них чёрные-пречёрные, черней никто и не видывал! – да с синим отливом, ровно крыло вороново!.. И глазища-то у них большущие, раскосые... ну что зрачки смородинные – ни просвета какого, ни проблеска... И кожа медная, цыганская... И ругаться-то оне на Катю ругаются – а ей, девчончишке, чудится, будто игра то, баловство, внарошку всё и деется – и не пужается она ну вот нисколечки!..

А как утречком примутся тётушки да кашу-малашу Катюшке варить манную, да как подымет малышку запах неведомый – да прибежит наша лакомка, встанет у двери на приступочек: босая-то, в одной рубашоночке кружавчатой, – а сердечко ну ровно колотун какой колотится: прыг-скок, прыг-скок... да за порог... Вот стоит стоймя голубушка – любитесь: а оне, тётушки проворные, варят-варят, да приговоры приговаривают, да ложкою длинною деревянною помешивают (тою ложкою, сказывают, ещё покойник-дедушко едал – щи хлебал)... И всё-то ходуном пойдёт пред Катиными пред глазами, каруселью закрутится – диво дивное, чудо чудное! – и боится она, детинушка, хушь словцо, из уст тёткиных выпущенное, упустить-забыть! Так и стоит себе постаивает, что сирая сиротинушка!

И только когда вся слюной изойдёт наша горемычная, сейчас и тётки ей заприметили:

– И кто это там постаивает?

А Катюшка к ним кинется: уж она обнимает-обнимает своих пестуний – не наобнимается! Целует-целует – не нацелуется! Родимая головушка!

И вот примутся тётушки кормить свою непутёвую кровинушку, кормить-потчевать да приговаривать:

– А эту ложечку за дедушку, а эту ложечку за баушку, а эту ложечку за тётушек, а эту ложечку за мамушку, а эту ложечку за сестрёнушку, а эту ложечку за батюшку... кабы пропадом ему пропасть-сгинуть... – А Катитка возьми да нарочно и выплюни кашу-малашу! Тётки только и переглянутся: ишь ты, дитё малое, неразумное – а и то понимает!..

По воскресеньям у Чуровых пироги да блины! А уж что скусные, что сладкие! Мягкие, сдобные... э-эх... ел бы да ел, так бы, знаешь, и уписывал!

А девчонки-то Чуровы за обе щёки уплетают-уминают пироги те... сами скоро ровно булки сделаются, ей-богу...

Вот понаедятся, так что и подняться-то не подымутся... ах...

Мать им:

– Наелась, как бык, – не знаю, как быть! – и качает головой: дескать, бочки бездонные... дочки... и пирог-то большущий, глянь-ка, из печи вытаскивает... инда слюнки потекут... А им, девчонкам-то, всё мало: нешто не кормят их? Ну, Катька-то Чурова и учудит: ишь, смелая!

– Дай кусочек! – кричит. А сама уж ручонку к пирогу тому протягивает... ух... горячущий... Глазёнки хитрющие, ан виноватые... Ах ты Катя ты Катя...

– Куда лезешь? – застрожится мать. – Ну надо же, а? Куды конь с копытом, туды и лягуша с лапой! Образина чёртова... расчёртова... – и только отвернётся – Катька сейчас цоп пирог-то, да кусок и отхватит... Не успеет мать и глазом моргнуть – она уж уминает тот кусочек: только, слышь, треск стоит! Ну, тут мать руками-то и всплеснёт: – «Кусочек!»! Ничего себе кусочек: с коровий носочек... – И что с ней делать, с волхвйткой с этой окаянной...

– Скушай кокушко! – пожалела тётушка – протянула малышке яичко красненько – уж такое красивое, такое ладненькое! – Катюшка ладошки-то пухлые-розовые и подставляет, да с жадностью завладевает заветным кокушком! А на мать-то эк задорно глянула: дескать, и что это у Кати есть! – только мордочка её вдруг задёргалась, глазёнки запрыгали: казалось, такая мука мученическая ровно изрезала лицо матери! Девчончишка заметалась, взирая на лицо то изрезанное в зеркале... поняла, родимая ты головушка, как, должно быть, стыдится мать того, что у неё эдакая-то дочь... Правда, до поры до времени и сама Катя знать не знала, ведать не ведала... кака така... но, видно, очень, очень нехорошая девочка... и запылала малышка, что тб пасхальное кокушко, стыдливо пряча очи-глазочки...

– Всю душу вы мою вымотали! – скажет мать, бывалоче, махнёт рукой – рука что ветвь суха: ни кровиночки! – а Катерина и видит сейчас: кто-то неведомый душу у матери выматывает: наматывает-наматывает тихохонько, тихохонько на кулачок, наматывает-наматывает – вот она, душенька-то, и вышла вся... ма-а-ахонькай такой клубочек, жалконькай... и будто глядит на него Катя – и дивится, дохнуть боится... и будто не у матери – у неё, у Катюшки самой, душу-то и вымотали... И схватится испуганная девчушка за грудкушку – и глаза матерны вперятся в её личико: одни зрачки – чёрные-пречёрные... ровно почернели они от горя неизречённого...

А бывалоче, Катюшка наша и учудит что – сейчас мать причтом и причитает:

– Доча моя, чадо моё одичалое! – Чу, баушка Чуриха: а ну как учует? – и Катюшке тычок: анчутка!

А уж что комната-то раскалена! Царица Небесная! И этот чёрный нависший потолок – обуглился от жару! – вот-вот рухнет на малышку, нашу крошку, пташку нашу, птичку! Она зажмурит глазёнки: страш-ш-шно! – потом пытается тихохонько так приоткрыть их, приглядеться – трудно, шибко тяжко: слиплись от пота... и что-то давит, мнёт её пышущее жаром

тельце... И никому-то она не нужна-а-а, и все-то заб-б-были про неё-о-о... Хочется кричать – да голос словно бы засох...

И чудится вдруг маленькой Кате: кто-то большущий спрятался там, наверху, и держит над её головушкой чёрный раскалённый противень... плавно так раскачивает... И что за пироги на том на противне... с начинкою... али шанюжки... Сами небось станут есть, а она тут лежи сиротинушкой... И расплчется, бедовая головушка, бессильно так расплчется: ох и жалко, ну до чего жалко Катю-то, страдалицу... ах она разнесчастная... ах она... ой, противень сейчас упадёт!..

И сожмётся в комочек, обхватит головушку ручонками – и мерещится малышке: не девочка она, а булка, пышущая жаром булка сдобная, с румяненной корочкой, – и её вот-вот сомнут рты голодные, рты жадные, всю до крошечки!..

Катка-булка, Катка-булка!.. Мягкая, рыхлая, белая... А они зубами будут рвать... Начинку им, начинку...

И закатит Катитка глазёнки и молит лишь об одном: уж скорей бы забрал её «дядя Цибулин» – а она-то что старалась бы, так старалась бы для него, избавителя... вот и печку б топить помогла ему, ну ей-божечки...

А и песнь зачнёт наша головушка! Тётки сейчас: сидит-де Паном Пердовичем, да ишшо и кувыкает! Ишь, мол, кувыка-закавыка, кувыкалка! Ишь, мол, кувичка-чувичка!

Ах вы, тётки глупые! То Катяша тишину расшатывает!

– Виса! Ишь, свистит, что сивый мерин!

– Ну что орёшь, как оглашенная? Анчутка! Расквасит губищи свои – и дерёт глотку, орёт на всю Ивановскую, разгриба чёртова! И правда: Галина-то всё молчком да бочком – ни слова ни полслова – так у ей и роток что бббышек: пальчиком прикроешь... а эта: расквасит свои губищи, шабала пустая...

– У нас один тоже всё кувыкал, – баушка Чуриха меж тем: да тихо-о-охонько так. – Докувыкался. А вы, девки, чего рты-то раззявили? – это она тёткам, баушка Чуриха-то, тёткам-тетёркам, что и впрямь рты пораззявили! – Никак припомните пастушка тутошнего, кувяку постылого? А, Авдотьяца? А, Гланьша? Ну чего зенки-то вытарашили, халды? И-и! – да ручонкой сухонькой и махни стгоряча баушка-старушка Чуриха: халды халдами и есть! Одначе сказ свой сказывает: куда денешься – словцо-то уж выпорхнуло, словечечко вещее! – Кувички-то он себе изладил камышовые, пастушок коченёвский, нашенской. Вот зачнёт кувыкать – хушь криком кричи, а не крикнешь: потому пастушок, потому скотина при ём, так-то вот. А только и доведись ему в дремь впасть: уморился парнишко, умаялся. Сам-то спать-дремать, а роток-от и раззявь: а что с сонного испросишь – сонный, он ить ровнёшенько мертвяк! Ну, в ту пору змеище подколодный ему в глотку и заползи! И уж так он там крутился-извивался, змеище-то, родимые мои матушки: поел всё унудре, как есть пожрал... Так, знаешь, упокойник и стоит пред очми: рот раззявил, а из его, из рота-то, змеюкин хвост бьётся жив-живёхонек... ох и страстущи... – Катюшка оземь: подкосили её, девоньку нашу, невестушку белую, речи те жуткие, шипящие; что змеюки, вползли они в ушки девичьи, оплели, опутали душеньку, до самого сердечка добираются...

А Катя улучит часочек-времечко – и в чулан, что пчёлка в улей, ровно в улье том кто медком понамазал...

Вот, стало быть, Катя-то наша чуть что – сейчас в чулан: только ей и видели! – закроется и сидит-посиживает, тихохонько сидит, что мышоночек малый... А в чуланчике темно-о-о, тепло-о-о... и полки всё банками с вареньями поуставлены: открывай да лакомись, плутовка лукавая! А в уголочке-то наволочки с мучицей да с сахарцом... ух и сладостно!

Она, Катя, головочку-то на «подушку» ту приклонит да и соснёт бывало...

Ах ты Катя, Катя, бедовая ты головушка! Выйдет: вся в муке, губушки вареньем попо-вымазаны, и пахнет от ей... что от булки сдобной... Ах ты Катя, Катя... и что только делать с этой с Катюю?..

А завидит едва Катерина-то, Катеринушка, в руках что у тёток гребень – ох и ядрёный гребень: большущий, зубастый, костяной! – сейчас и в чулан свой: запрётся запором и сидит-посиживает!

Тётки ей: «Катя-Катя, Катя-Катя!» – а она сидит – и не шелóхнется.

Глазёнки зажмурит – и сейчас видит... на самом дне глазном и видит: полотенце-то рекою широкою стелется, разливанною разливается, путь-дороженьку злым извергам к Катюшеньке-душеньке преграждает; а гребень-то-гребешок кинь чрез лево чрез плечо – лесом дремучим да зубастым, частоколом-сном ужасным встанет: Катюшку охраняет!

Ах ты Катьша – шатунья наша – ни шатко ни валко дурашку валяет – мечту мечтает... чем бы дитятко да не тешилось... лишь бы штиль был...

Вот сиднем-то насидится, тихо-о-охонько высунется – а тётки тут как тут: цоп девчонку, ну ровно куклицу какую, схватят, руки ей заломают – а она-то, сердечная, вырывается, криком кричит – спасу нет! – а тётки поташут грязнулю – и ну мыть, да чесать, да стричь. Вот стричь-то стригут, да ишшо и приговаривают: «Ишь, опричь! Баран Баранóвич! Пух Пухóвич!» А кудерьки-то белые, невесомые – весь пол ими услан, ну чистая гора! – и прямо на полу-то в колечки свиваются... ну что живые, родимые мои матушки!

Тётка винилась пред баушкой пред Лукерьей:

– Я только на минуточку-то и отпустила ей, антихриста такую, а она сейчас и рванулась – всей варей в лыву! – и глаза смиренно опустила.

– Ну а тебе что, шары, нешто, залепило? – это баушка Лукерья другой тётке – та лишь руками и разведёт: дескать, виноватые мы виновницы – недоглядели-недосмотрели! – У, халды! Вещуны проклятущие! – старуха замахнётся на тётушек сухоньким кулачком – а Катюшка махонька сейчас в слёзы, да жмётся к своим что разлюбезным нянюшкам: боится, дитятко, пугается, когда баушка стрóжится на её ненаглядных!

– Уйди, ты ещё! – отмахнутся преступницы, а сами глаза-то прячут!

Катя закачается-закачается – и пойдёт-покатится, комочек взъерошенный, – а с самой грязюца ручьём течёт – весь пол и удекает, бедовая головушка, безвинная лебёдушка...

– Я ей: Катя... – мать замолкнет, прислушается к словам-то, только что слетевшим с уст её, устало рукой махнёт: дескать, так надоело всё, так надоело-л-ло-о-о... – Я ей: Катя-Катя, Катя-Катя! – а она, хивря, от меня, что собака от червей...

– Ах она волхвítка балахмыстная! – А Катюшка раскудрявилась, простоволосая, – и хочочет-закатывается, румяненное, наливное яблочко, девица-сквозница, а уж что проказница! – Волхвítка балахмыстная! Вся расхристанная! Катьша! Катьша! Экая шельма рыжая-бесстыжая! Нешто пугвичку напужалась – вся расхристалась? – и за Катюшкой, за Катюшкой: знай с боку на бок перекатываются, тетёрки пустоголовые!

– Пуги! – Губушки пухлые! Кокушко ладушка наша, шалунья кушала – губушками-сладушками... душенька... – Пуги! – И сейчас пуговица в пухлой ладошке Катюшкиной: ах она неуёмная, ах она неугомонная! И что за Катитка такая? И в кого только уродилась? – Катька-капуста, Катька-капуста! – и ручонку к головушке пустёхонькой прикладывает, златокудрая да розовая, что русалка, ей-боженьки! – Сто одёжек – и все без застёжек!

Не догнать и догоном тётушкам резвую головушку, златокудрую пуховушку пухóвенную!

И клич кликнет зычный призывный Катюшка наша – и девчоночки, что овечечки-человечечки, сейчас за нею, за Катериною, сейчас и в пряталки примутся играть.

А что и за пряталки такие, нешто пряталки не прятки?

А Катюшка:

– Нет, пряталки! Там ал притаился! – Какова?

Вот считаться станут:

– Чуши-боры, кішки перепрели – собаки поели! – Глазом не мигнёшь – рассыпаются, что упругие жемчуга, – поди сыщи! Сыском не сыщешь – а уж сыщет кто – сейчас к Чурову дому: зачурать!

– Кто чурачил, тот и начал! – и жемчугами, жемчугами!

– ... а дядя Гагань возьми да и свистни... – и только тётушка надумала «казать», как это он лихо свистнул, – Катя – нелёгкая ей возьми! – что блином масляным в рот прёт, слова не даёт молвить!

– Гаган! – хохочет. А сама, того и гляди, лопнет. – Ой, мамушки-и-и... – ну ей-богу, ин плачет! Вот антихрист!

– Ну, Гаган! – осердилась тут тётушка, бровки насупила: сурьёзная-а-а!.. – Чего глотку-то драть? Ишь, разбузыкалась! О, о! – А Катю и уёмом не унять – вон уж пунцовенная. – О-хо-хо!

– Нет, ну истинно, что ль, Гаган?

– Да изыди ты, лешак тебе в кошель! – и зашласть-закашлялась тётушка шумливая. – «Гаган, Гаган»! Все так звали – и я звала, – и отвернулась: ишь, разобиделась! – Я что, метрики ему нешто выписывала? Аль крестила его? Аль миром мазала? Все прозывали – и я звала: дядя Гаган... старенькай такой старичок был... чистенькай... слова от его никто худого не слыхивал... Сидит, баскалычится... Я не стихоблуд какая: как оно было-есть, то и сказываю... Ишь, сидит...

– Ну ладно, ну прости! – ластится Катитка. – Сказывай дальше! – Ишь, шельма рыжая!

– Уйди совсем! – отмахивается тётка. – Не стану я сказывать! Пушай вон тебе ведро худое сказывает, что в сенцах стоит... А я послушаю... – Ни с чем осталась наша Катя, ни с чемушком! Эх проняло-то тётку!

– Дык ить и не сказать, чтоб и вовсе дурой-то какой росла, – так, полудурком. Иной раз зачнёшь что разговаривать – а она сейчас подсядет, рот-от раззявит – и сидит сиднем, что глуподурая какая, слушает. Скажешь ей так ласково: шла б, дескать, погуляла – ни в какую: как сидела стуканом – так и сидит, не движется. А иной раз что не по ей – сейчас в чулан – и заприся там. А спроси ты ей: чего она там видала-то – zenки свои вытарацит и глядит на тебе, что невзрүй какая! А то вдруг веретеном по избе пустится! Уж крутится-крутится, вертится-вертится, что вошь на гребешке! Упреет, раскраснеется вся! Спасу нет! А опять же и читать знает и писать... Ой, и в кого только уродилась...

– Знамо в кого! Урод: весь в отцов род!

– И то, сестра...

Одну лишь сказку Катюшке и сказывала баушка Лукерья, одну-разодну, единственную, – и уж эту-то сказку наша девица могла слушать по вси дни, сколь ни сказывай – не наслушается! И сердечко-то замирало у малышки в грудушке – вот ровно кто рукой его, сердце-то, попридярживает! – и открывала наша бедовенная головушка роток... в него-то и влетала всякий раз та сказка диковинна...

А зачинала баушка Лукерья так:

– И было то в незапамятные времена, когда ни Гланьши, ни Авдотьицы, ни матери твоея, ни Гальши, ни тебе самой ишшо и в помине не поминалось... – и этот зачин чинный уж

сам по себе приводил нашу очарованную слушательницу в эдакой-то трепет трепетный, что далее можно, пожалуй, и не сказывать вовсе, ан нет, баушка Лукерья сказывала, да ещё такого дивовства напустит – матушки родные, силы небесные! – абы со страху-то да не помереть!

И вела старуха свою мерную речь неторопливую далее:

– Тады ишшо не покрыли головы моя и косы не расплели, а дедушко твой, покойник, – царствие ему небесное и мой земной почёт! – бороды ишшо не нашивал и лицом дюжа полон и румян был... – вот промолвит те слова сказочны – а Катитка – пострел эдакой! – сейчас и видит девку дородную с косою толстенною русою да удалого доброго молодца в красенькой рубашечке – подбородок в молоке... а пошто в молоке-то, так станет ясно как день далее: потому Катя-то наша неумомимая уж давным-давно выучила сказочку баушки Чурихи на зубок, и ровно вживе всё видела, и многое уж наперёд ведала! – Вот косим мы косим, косим-косим – конца-краю несть жнивью-то! А Чурушко-то, сокол мой яснай, так справно, так лихо литовочкой-то машет, так ладно! Вот, бывалоче, рот эдак раззявишь – да залюбуисси: экой писанай красавец! А тятя-от ка-а-ак толканёт в бок: дескать, работай, Луша, – я и пошла махать! Да рядком-то встанем с наречённым моим, с суженым с ряженым – он тады уж и присваталси! – да так и идём: ать-ать, ать-ать – только свист и стоит! И вот косим-косим, косим-косим... Кады уж у сокола мово рубаха к телу пристанет – как есть, вся мокрым-мокрущая! – тады только и остановимси для покою для роздыху. Сейчас криночку молочка да хлебца каравай – и закусываем, и воркуем промежду собой, что тебе голубки сизокрылые! А он-то, упокойник, большущий до молока был охотник. Криночку-то к роту поднесёт – а рот румянай, а зуб белай! – да и чакает в своё довольствие – а молоко-то так и текёт, так и текёт по бороде, да на землю и упадет. Вот понапётся, уста эдак оботрёт – да заприметит вдруг: букашка какая в капле млека ровно копошится-вошкается... ага... Сейчас подымет ей, на палец посбодит и давай речи сказывать! Ой, а уж что за охотник был до всякой живности: до самой худой твари – и то жалость имел! Вот и спрашивает он козявку ту: «Что, мол, тварь божия, тож, небось, жить-то хошь?» И пропышит как за ей-то тонюсеньким таким голоском: «Хочу, мол, рабе божий, пошто не хотеть?» Ну, отпустит ей на волю вольную: живи, дескать, яйца откладай... – старуха умолкнет, призадумается, головёнкою качнёт: мол, это только присказка! – да дале и сказывает: – А тут доведись мому Чурушку по дрова поехать (то уж я была ему мужня жена). Ну, поехал и поехал, а только поехал-то он да залез в такую-то глушь, прости Господи, на самый что край леса-села почитай и залез! И явился пред им чёрен зверь! Матушки родные! Такой зверюга лютай – страшнее страшного, не приведи Господь! – баушка закрестится, бывало, а Катя так и трепещет трепетом! – В самую пору его и застал, зверя-то, абутора, по-нашенскому... Вот он, абутор-то ентот, и зарычи рыком на покойника! А тот, покойник-то, не испужалси да и обратился к зверю-то – и рече человеческим голосом: «Что, мол, Михайла Иваныч, лесной паныч, тварь божья, тож, небось, жить-то хошь?» – и не дрогнул, родимый ты мой батюшко, не пустилси бежать-то взапуски от зверюги от ентото лютого! – Чуриха сызнава окрестится. – И вот так он рече, а зверь-то – ну ровнёшенько человек! – постоял-постоял, развернулси – да в лес, только его и видели! – старуха руками-то эдак разведёт – и вдруг, что молодка, хохотнёт – да так и заканчивает: – Вот и всё словечко, как волк словил овечку да в лес и уволок!.. – и уж сколько ты после не проси ей повторить ту сказку – и упросом не упросишь!

– Вот кабы батюшка... – И тшш-шш-шш... И пошто Катюшке баушка Чуриха не велит баять байки про родимого батюшка? Табу, ишь, на батюшке... никшнй...

А батюшку-то свово Катюшка уж как пужалась-боялась! Хошь тот и случаем каким случался на ейной дороженьке – всё одно пужалась!

Вот идут они с тётками – что такое: девчонку за спину и загородят, заслонят собою, точно птаху малую, – большущие ломовые лошади! Катя-то тихо-о-охонько так из-за спины

той могучей и выглянет – а сама-то за подол за тёткин держится! – вот выглянет, да глазёнки-то и зажмурит: отец!!! Ой, мамушки родные! Стоит девчончишка, трясётся трясунном: не слышит-то, не видит ничегошеньки! А после обернётся ро-о-обко так – да и то уж отойдут порядочно, – а отец-то, бабушка, глянь-ка, будто и не страшен вовсе издали-то: так, головка тыковой, спина сутулая, деревяшка какая в руках... идёт-шатается...

Про отца бабушке Лукерье ни-ни! И Катюшке накажут строго-настрого тётушки пугливые: дескать, про то, что отца-то встренули, – про то молчок, зубья на крючок! Тшш-шш...

– Вот кабы...

– «Кабы»! Кабы быка бы, да за рога, да на гору – да нейдёт бык...

– А грядёт гроза!.. – и зарделась, розово-зоришка! – Мне б на гору!.. – Ступай на гребень-гребешок... гребень-гребешок... Петя-петушок... И взор долу... ой...

Катюшке-то слова снятся! Бывало, промолвит: а мне, мол, нонече словцо привиделось! – и молчит молчком, волосики на пальчик накручивает. Помолчит-помолчит – да не утерпит: бе-е-еленькое такое, ма-а-ахонькое (это слово-то!); Ну Катюша!

Тётки ей: как это, дескать, слова – разьясни-растолкуй, ишь, удумала что! А Катя-то наша знай шары выпучит, да помалкивает себе молчком, очумелая: тш-шш-шш...

Тётки в другой раз приступом приступают: нешто снятся слова-то? – снятся, снятся, вот ей-богу, снятся! И захлопнет рот ладошкой, лапушка... словцо, ишь, утаивает...

Что такое? Снились-снились – да явью-то и явились: сами на бумагу, словеса-то мудреные Катюшенькины, и запросились! На бума-а-агу... агу... агу... агу-у-ушеньки!.. Ровно бусинки ниточку-то, сцепочку-то, перетёрли: терпели-терпели – да и перетёрли! – и рассыпью, и рассыпью прыснули: иные-то и не словишь – ишь, закатились, по щелям, шельмы, затаились! Ну а что не укатилось-сохранилось – то на бумагу наша головушка и выписала, – а как выписать-то выписала, полной грудушкой-то и вздохнула-выдохнула – и точно пусто вдруг стало: потому выпустила... аль новые-то придут?... Ждать-пождать ли?..

А что у Катюшки-то есть? А в чуланчике? А на верхней на полочке? А меж банками-склянками, меж мешками сладкими? А махонька така шкатулочка-а-а... а в шкатулочке схоронила наша девица неведомо сокровище...

Вот стульчик подставит – шкатулочку свою достанет – да любитесь... было б добро какое...

У кого в шкатулочке-то бусики – а у Катюшки-то нашей буквицы... тш-ш...

А Катерина-то и бабушку Лукерью подпись подписывать выучила, вот ей-божечки! И Авдотья учила, Гляньша – не выучила, Галина, – и та не выучила! А Катюшка возьми – да и выучи!

И всюду после находила Катитка то клочочек бумажки с каракульками бабушки что Чурихи, то газеточки клочок... Чур-чур-чур... А то раз стишки свои – вот так так! – на столе без глаз – без присмотра оставила! Глянь – а внизу-то бабушкина каракулька «чур» чернеется, ручонкой-крючонкой выведена! Ну ровно старая свои стихи кровные подписала, подпись поставила! Помрёшь со смеху!

А то вдруг сон Кате чудной такой снится-видится: будто изба-то вся, как есть, бабушкиными каракульками-закорючками исчиркана: чур-чур-чур, чур-чур-чур! И точно знает Катя-то, что «Чур» тот живой-живёхонький! И вдруг соскочит он со стеночки – большущий, липкий, вязкий! – и ну душить девчоночку: вьётся-обвивается вокруг шейки вокруг нежной... ой, нету моченьки... ой, жарко...

– Господи! – мать бывало только и всплеснёт руками, глядя на Галину что камнем окаменевшую, потому сокрушается! – Хошь бы киргизец какой забрал её, супостатку постылую!

А Кате уж и грезится-слышится цокот тысячи лошадиных копыт – целый табун: а пыль-то что подняли, матушки рѳдные! – и протирает глазѳнки свои махоньким кулачком пуховенным! После вдруг обомлеет-замрѳет: молодой наездник, да из киргиз-кайсацкой степи! – а уж что краси-и-ивай!.. Ресницами захлопает часто-часто: боже, божечки!.. А киргиз-кайсак нагаечкой эдак хлыстнет... али литовочкой... да ка-а-ак свистнет, да ка-а-ак подхватит Галину-то – и на коня, и увозит увозом-то, только и мелькнѳет рубаха красная!.. Так дух, знаешь, захватит у Катерины нашей что Катеринушки: дышит – не надышится, по сторонам озирается зачарованно...

А баушка Лукерья тут как тут: глазищами-то зырк да на мать и цыкнет:

– И-и, халда! «Увѳз»! Тебе-то вон увѳз – да и что стало? – Катя ушки на макушке: ни слова б ни полслова не упустить!

– Да сколько ж можно то поминать?

– Скольки! Понаплодила образин – и глядеть не хошь на их! Тьфу! А всё мать виновна! А ты мать-то спрашивала, кады изверг ентот окаянный, побрехло пустое, брюхатил тебе? – Катитка сожмѳется в комочек: не приметили б, не заметили! А сама трясѳется, сиротинушка, что осинов лист! – К матери небось приползла-то! Матьер плохая... – и пойдѳет, пойдѳет лопотать – не оступится.

– Господи, и за что я муки эти терплю мученические?!

– Вот и потерпи... О, ишь, шельма рыжая, ты-то какого рожна крутисси издѳесь, треплисси? – Катя роток откроет – и стоит – не сдвинѳется. На мать глядит – а та лишь бесси-ильно вздохнѳет, да рукой махнѳет: дескать, ступай себе с глаз долой! – и такая мука искромсает лицо её, такая мука...

– Дядя Цвирбулин, дядя Цвирбулин! – увидала разлюбезного своего мил-дружка – глазѳнки загорелись, личико что пышич пышет, румяненное, волосики вьюном вьются! Ах ты Катя ты Катюшка быстроногая! – Дядя Цвирбулин, дядя же...

– О-хо-хо! Да кто это такой красивый? Да кто это такой сладкоголосый? – А Катитка-то наша уж и не шевелится, и вдоха не вздохнѳет, и слова не изрѳчѳет – стоит, раскраснелась-то, разулыбалась-растаяла!

– А я Катя-самокатя, сама по себе Катя... Сама катаюсь по белу по свету: Катя-катышек – что по маслу... Да не просто катаюсь-то – со смыслом...

– «Со смыслом»! – тѳтка! – Сейчас ка-а-ак дам по мысалам! Со смыслом!

– Дядя Цвирбулин, а я третьѳего дня в школу поступила, вот!

– Да ну? Это ты тепѳрь что, первоклассницей прозываѳешься?

– Не-а, первошкольница я, потому школа-то нашенска коченевская одна-одинѳешенька! – Цвирбулин удивлѳенно промычал, да головой лохматой покачал, а тѳтка ему:

– Да ты-то ишшо мыкаѳешь! Та, волхвѳтка, городит невесть что, а этот мыкает... мыкалка! – и Катюшку за поясок: остепенись-де, девонька, никто-то тебя за язык не тянет, поди!

– Мыкалка, мыкалка... мы с дядѳей Цвирбулиным мыкалки, а ты тыкалка! – и хохочет хохотом: ишь, пустая звякалка! – Дядя Цвирбулин, дядя Цвирбулин!

– Ай, лапушка? – и любитѳся нашей Катюшкою, вот ей-богу, глядит глазом масляным!

– А допрежь я на перекличку ходила! Ты ходил на перекличку? Ну, слушай: там дяденька один вышел в серѳдку – а мы, кого скликать-то станут, полукружьѳем стоим. У дяденьки того в руках список такой большущий, что свиток, знаѳешь? – Катюшка замахала ручонками. – Вот он и начал скликать, да громким таким голосом: страсть! – глазѳнки зажмурила, губушки под-

жала! – Там, слышь, в списке-то, два мальчика прописаны – один Андрей Тюнев, а другой-то Андрей Тюняев...

– Э-э! – не утерпела тётушка: совсем не стало удержу! – Пустозы́ня чёртова!

– Поди, братовья?

А тётка Цвирбулину:

– И этот туда же: «братовья»!

– Что ж он... Тюнев... буквицу-то выронил, а, Катюнька?

– Да выронил как-то... Это бывает... – Катитка плечиками пожимает, дурёшка малая, птенчик-пташечка! – А ещё, знаешь, в списке-то и две девочки есть – Сима Алова и Сима Олова! – Ничего не сказала тётка-страдалица, ни слова ни полслова не молвила, смиловалась – пальцем лишь погрозила неслушнице: держи-де язык-то за зубьями, не то живо язык-то попо-вырвет тётушка, а пуще того и баушка Чуриха! – Дядя Цвирбулин, дядя Цвирбулин! – не уни-мается бесстыжая! – Вот всех-то выкликнули – всех-повсех – а меня нисколючки!

– Так-таки и не выкликнули?

– А ну, пустобóлтка, повремени́! Я те не выкликну!

– А уж я ждала что ждала! – Катюшка шепоточком! – Так, думаю, хоть бы тихохонько – ан не выкликнули: видать, клич закликался в горлушке у дяденьки-выкликателя-оглашателя! Иль не в то попал горлушко... Ты знаешь, я в другой раз в школу идти растеяла!

– И пойти не пошла?

– Пошла – куда денешься? А только и там, дяденька, нет меня в списке-то, не пропи-сана! – Тётка уж и не чаяла в разговор-беседу вступить – так, молчком в кулачок и помалки-вала! – Они ить что, они ить, поди, порешили, будто я Чурова – Чуровой прозываюсь – а я-то вовсе и не Чурова...

Вот сядут девчоночки да на лавочку во садочке, что у Чурова у дома, – девочки-девчо-ночки, сверстницы-ровесницы, погодочки-догадочки. Сядут кружочком: кошёлочки свои рас-кроют – а там и нитки-то всякие, и спицы-то разные, и платочечки, и клубочечки, и кружав-чики, и бантики – спицы-то в руки: сидят знай повязывают: кто шарфик, а кто шапочку, кто носочек, кто чулочек, кто шапочку, а кто и куколке, да Катюшеньке, одёжку какую сочиняет. Ниточка грубая – пальчики нежные, розовые; спицы страсть тяжелы да тверды, а поблёски-вают, а посвёркивают на солнышке-то, а мелькают в умелых-то рученьках. А ниточка вьётся-то, вьётся, а пальчики болят, ах болят: знай ниточку сучат-теребят.

Вот пойдут девичьи разговоры-приговоры, да всё про робят, про принцев чужезем-ных-заморских, да про чудеса-волшебства всякие диковинные, да про старину про разудалую: ох и славно, ох и лихо!

А Катька-то Чурова что учудит! Спицы-то у ей деревянные, особельные, с большущими кругляшами на концах (то самбóй баушки Чурихи спицы-то – девчонка их таскала украдкой да прятала: авось не прознает – не вызнает баушка!). Вот Катька-то и цыкнет, да ножкой топ-нет: дескать, ну вас, пустоплётки! А сама попритихнет будто: пальчик эдак к губкам лакомым приложит – и зачнёт:

– В стародавние-давние времена... – и пошла, родимая головушка: петля за петелькой, словцо за словечком – гладко плетёт, знатно сказ ведёт! Уж и заслушаешься, и заглядишься, и забудешься – потому диво будто дивное из Катиных уст из сахарных выкатывается – да по травушке по муравушке в пляс пускается! Вот оно как!

А уж что девчонки-то глуподурье рты поразы́вят, нить из рук поповыпустят, петли попускают – клубки так и поскачут, так и полетят прочь: изовьются-разовьются да повы-рвутся!

А Катя знай своё: спицами мелькает, да с девчонок глаз не спускает: отвернётся какая – на цветочек на одуванчик залюбуется – Катя сейчас кругляшом по лбу: дескать, сказку-то

слушай, кому, дескать, сказываю? И нахмурит бровь русую, и погрозит перстом розовым! Ах она Катитка, ух до чего сердита!

– Вот слушайте дальше... – и пошла, пошла наша выдумщица расписывать нехитрый свой сказ разными шутками да прибаутками. А сама-то ещё и знать не знает, ведать не ведаёт, бедовая ты головушка, чем и кончит повесть замысловатую и к чему она, повесть сия, приведёт её, нашу мечтательницу, сказительницу, певунью-то. Одно только и ведаёт девонька: само и скажется, само и развяжется!

А глаза-то у Кати – ни в сказочке сказать ни пёрышком записать! – ну что озёрца пречистые-глубокие: так и сияют, так и светятся; каждый малый камушек, что на доньшке затаился, видать! А на переносице у Кати голубенька така жилочка – извилистая протока меж озёрцами: ериком али ахом у нас прозывается (вот тебе и ах!). И вся-то она ладненькая: кожа-то, кожа какая – нежная, гладкая, белая... ух! Того и гляди, не удёришься – надкусишь... ах ты, наливное яблочко! Головочку эдак повернёт, посмотрит на тебя... э-эх!..

А на солнце-то головка Катина блестит-переливается, будто кто расшил её золотистыми нитями волшебными! Красота неописанная... лакомая... сладкая... с-сочная... Лапушка... гуленька светлая... кровушка буйная, горячая...

А что сарафанчик наденет голубенький – ну такая душенька, ну такая голубушка: а шейка длинная лебёдушкина, а рученьки-то голеньки-пухленьки, ямочки на локотушечках... павушка... А щёченьки-то румяненные, а губушки-то ах вкусны... а носик-то... ах он, носик-разносик гулюшкин... Ну такая сладость, ну такое наливное румяненное яблочко...

Да Катя и сама чуюла: вот что соком каким наливанным вся наливается! Ну Катя, ну Катя! И что ж с ей деется-т? Ох и добрая девица!

Только тш-тш-тшш... никто об том пока знать не знает, ведать не ведаёт... тш-тшш-тшш...

Дак а что она слышала-то?

– Ну надо же, а? Белобрысая какая, ровно хто ей на голову молока кринку прокинул!..

– И в кого только уродилась-то? Известно в кого: отцово семя, семя прókлятое... Уходи, отцова дочь... Уходи, не наша ты... Вон Галина – да, а эта...

Так и жила себе Катюшка никудышною дурнушкой... жила до поры до времени... И никто-то ровно и не примечал ейной неземной красоты... никто-то и разглядеть не мог – не умел...

А ведь Косточка, поди ж ты, разглядел... Э-эх, да что он понимает-то?..

Уж судили-рядили бабы коченёвские, рядили-судили: и с этого боку подойдут, и с другого, и с прищуром глянут, и бельмы вытаращат... И кто они такие, Косточка да отец его, какого роду-звания? И каким-таким ветром принесло их в землю коченёвскую – ан не приживутся – не примутся?..

– Это что у тебе за железяка? – в глазах тётки Авдотьи страх животный зазмеился. – А ну, брось сейчас!

– И неча его приваживать! – другая тётка. – Корми тут всех.

– А не ты случаём в заборе дырку проделал железякою энтой? Гляди, я вот баушке-то Лукерье скажу! – А Косточка ни живёхонек ни мертвёхонек!

– Он – кому ж ишшо! – другая тётка. – И ходют, и ходют...

– Ишь, пры́нцарь сыскался! – скажет тётка да окошечко-то и захлопнет.

– Окромя Косточки-т свово нешто и сыском не сыскать, Катьша? – баушка! – Мброк один с ими, с охальниками-крамольниками. Корми тут каждого... рожна им пирожного... – Кажется Катюшке: так бает баушка Чуриха – ручонками щёченьки подмяла, лапушка, – сидит

тих-тиха́ – ни хитринушки у нашей что Катеринушки, ни лукавинки – сидит детинушка – ушки на макушке – послушивает...

Носочек какой, чулочек штопает, чтоб целёхонек был носочек-то, без единой без дырочки... Чулочек... носочек... иголочка лучиком серебристым вонзается в подушечки-душечки пальчиков – упругие розовые виноградинки...

Вот штопает-штопает наша лапушка – пальчики-пуховочки и поисклет совсем. Штопала-штопала – пот проливала – носок-чулок... носков ли чулков... носков-чулок... понаштопала... чтоб тебя...

А после опрометью к платяному к шкафу – и вдыхает аромат белья новёхонького, что лежит большущими плотными стопками: то Катино и Галинино приданое, так-то вот! Ин дух захватит: сколько всего – и тебе в горошек, и тебе в цветочек, и в полосочку-линеечку, и в клеточку – только и осталось взамуж выйтить, ей-божечки! Аль исписать буквицами...

А потом зажмурится, носик блаженно сморщит: сахарцом да мучицею пахнёт! – то наволочки отдельные-особельные, для варений-печений припрятанные!

А уж как хочется глупышке нашей, ладушке-душечке соснуть да на сладкой подушечке, ох как хочется-а-а!

– А Киньстинькин-то твой по батюшку хто будет?

– Почему «мой»? – вспыхнет Катя наша, что зорюшка ясна, что девица красна! – Никакой он не мой!

– Ну будет баскальчичиться-то! – А Катя молчком помалкивает: губу, ишь, закусила – и сидит, молчуньей молчит. – О, о, зазналась, что вошь в корбсте! Как, грю, величать-то его? Онемела не то, пава, ишь!

– Ну, Павлович...

– Это, стало, отца евойного, покойного... тьфу, живёхонек ить – возьми его нелёгкая... стало, Павлом кличут... А он, Павел-то, чей будет, чьего роду-племени?

– Павел Фёдорыч! – и зыркает, и зыркает: дырку продырявит, кудрявая!

– А дед... Хвёдор?..

– Вот уж про деда не знаю-не ведаю: потому речь не вели! – сейчас укусит, окаянная! Ну Катя! Ровно собака кидается!

– И чтой-то они будто нерусские, а? Не знаешь, Катерина. Какой они нации, а?

– Не знаю... и знать не хочу...

– Ишь, разошлась, что лёгкая в горшке... «не хочу»! А захошь, так поздненько будет! То-то! – Катя молчит сызнова: зубы стиснула – и помалкивает! – Нерусь чёртова, а! И вьётся что вьон вокруг нашей-то полоротой – а ей что: завей горе верёвочкой!

– Да русские они, русские! – в сердцах крикнула: дюже сурова-сердита... а хороша-а-а... поди ты... – Имена-т – всё ж не неметчина – родное, милое...

– Э-эх! Дурища! Имена! Как люди-то сказывают: дескать, всяк-то калмык Иван Иваныч, а всяк чувашин Василь Иваныч! Вона! А ты: «имена»! Наминать их не станешь, имена-то! Это он, можа, только и сказалси что Василь Иваныч, а наджабь ты его – он и выйдет Чёртушко Антихристович! Свят-свят-свят! С нами силы небесные!.. Н-но! Не успеешь и запречь! Прости Господи! И не перечь! И гора с плеч! И чтоб я боле и видом не видывала его возля тебе, слышь, что ль?

– Не слышу! – огрызнулась Катя, на баушку зыркнула.

– Так ты слушай ухом, а не брюхом! Хивря! И послал же Господь на старость-то лет! – и почитай уж вдогон крикнула: – И хто б они ни были – всё не нашенски, не коченёвские!..

Ах ты баушка Чуриха! Как носом чует: чур-чур-чур, никак Косточка! Да ручонкой сухонькой и манит – никшнй, никуды и не денешься!

– Киньстинькйн, а Киньстинькйн? А чей ты будешь-то? – Косточка и озирается: Катиной защиты-заступа взыскует – та лишь зардеется, глазёнки опустит: стыдается девица. – Ну что бельмы-то свои вытарашил? Я говорю, хвамилие-то твоё как будет?

Он и скажи... Да и сам-то дивится-удивляется: ишь ты! А и чудно, ей-божечки!

– Дурит ишшо! Фáстает! Бахвалится! Да нету таких хвамилиев!

– Как же, баушка...

– Нет как нет! Бурковы есть, знаю. Вон у нас Бурков один был, дядя Гервасий, дурачок коченёвский... ага... А что красивый был! Ой, мамушки мои! Но дурачок, прости Господи мою душу грешную, совсем дурак никудышный! Идёт, бывалоча, слюни распустит – усе мысалы в соплях!.. Мы да мы... всё мычал, сердечный, никто от его и слова-то доброго не слыхивал, прости Господи... Всё девок шшупал, охальник... ага... об чём эт я... а! Вот то Бурков был, дядя Гервасий, дурачок... царствие ему небесное... Тислины есть... А ты что мне тут плетёшь, антихрист, путаешь-то мене? Ты слушай, что люди-то старые говорят! Не знаю я таких хвамилиев! Чудиновых – знаю. Вон у нас ишшо Мавра такая была, чумичка, у Кочумаевки живала. Взамуж пошла за Буркова... но не за того: тот-то дурачок был – хто с им жить-то станет – за другого Буркова, кузнеца. В город Камень пошла – потому тамошний он, каменский, был... Погодь-ка, погоди, а иде он ей заприметил-то... не упомяну чтой-то... Взамуж-то вышла – а чрез три-то дни и возвернулась: что такое? Да помер, грит, кузнец-то (старый старик он уж был), вот... Но так Бурковой записанная и жила. Сваталси опосля к ей кой-то... энтот, что ль... ой, не упомяну... прости Господи... вот... – смолкла старушка. Катя обернулась – а она уж носом клюёт. Поманила тихохонько Косточку пальчиком... – Так, гришь, как твоё хвамилие? – баушка Чуриха очнулась, встрепенулась – и сверлит круглым птичьим глазком Косточку: страстущки!

– Да тьфу на тебя! – эх разухарилась Катерина-то!

– А ты прикуси язычино-то! – и Косточке: – Слышь, и отец у тебе, что ль... прости Господи, с таким хвамилием... язык покарябаешь... тьфу!

– И отец...

– И дед?

– И дед...

– И в метрике прямо так и прописано? – Косточка плечиками пожимает, мается, да меж тем с Кати очей-то не спускает – подымает.

– Ну, это, стало, дьячок понапутал! – Костя на Катю – а та молчок!

– Какой дьячок?

– Ну, понавроде писаря: в метрику он запись записывал. У нас такой дьячок коченёвский был – уж что пропойца, что матерщинничал... Царица Небесная! Подопьёт – да с пьяных-то глаз и понапишет что ни попада: кому каку буквицу от себя присовокупит, а каку и выпустит... пьяные твои глаза... Понапутает, антихрист, анафема такой... Ох и злился на его батюшко Серафим, ох и сердчал... Да ты ж не деревенской? – и возрится на Костю, неожиданного гостя, – а тот к Кате жмётся, что нож к скатерти, дитё малое – к матери! – И отец твой городской не то? – Кивнёт Косточка. – И дед?.. Ну, разве что в городе...

Вот время идёт – баушка Лукерья знай своё толкует, своё ведёт:

– Киньстинькйн, а Киньстинькйн...

Родимес его возьми...

А Катя-то наша припомнила ему тот случай, ой припо-о-омнила! (Это уж опосля, это уж он, Косточка-т, женихаться стал!) Подошёл раз к ей:

– Катя, а Катя? Вот поженимся – и здесь, – шапка набекрень, в паспорт пальцем тыкает: кобенится! – и здесь будет записано... – и хвамилие свое выкликнул, а сам сейчас задохнётся: так и заходится! Глаза, того и гляди, повыскакивают! А она ему, Катя-то наша лукавая... лакомая:

– Да нету таких «хвамилиев»! – и косится... русалка, ну чистая русалка!

– Ну Катя! – ишь, разобиделся!

– Да не знаю я таких «хвамилиев»! – и ну хохотать-похохатывать... охотница-хыщница...

– Нет, ну правда! – а саму ровно бес кружит по комнате: раскраснелась-то что – и не приснится экое! – дышит – не надышится! Ядрёная-а-а девка! – Дьячок-то, видать, и впрямь пьян был: чуешь, буквицу-т присовокупил лишнюю, не то! – и хохочет звонким русалочьим хохотом, похотливая!

– А у Боборыкина «то»? – и сверлит глазами бесстыжую Косточка – всю душу она ему вымотала! – У Сашки Заиграева «то»?.. – А Катя пуще прежнего куражится: того и гляди, разорвёт её от смеха-то! Ой и Катя, ну Катя...

– Буквица эта ровнёхонько шишка на языке: и сплюнул бы – ан нет: что мёртвой хваткой вцепилась!

– Опять ты, Катя, по-коченёвски заговорила!

– Ну ладно тебе! – и теребит Косточку, ластится. – Мы снова к тому дьячку пойдём – авось ещё что понапугает! – Вот и злись на ей опосля этого...

Пошли пешком, да на пашенку – а спешат-то-поспешают шибко! А на пашне-то на пашенке – пашеница-шептуница, да шапкою пышною... бесшабашная... тш-шш...

Пошто ты, душенька пашеница, пынешь, пошто дышишь...

Пасть ниц – да во пшеницу-шептуницу... и описать не опишешь-шь-шь...

... и сейчас мать, ровно бес её попутал, выхватила из Катиных рученок недописанную книжечку – и пошла в лихоманчище её шерстить, пошла потрошить... шить... шить... шшш...

Катюшку нашу и закруж-ж-жи-и-и... Она плавнёшенько так приземлилась: чистёхонька, белёхонька... невинная... вырванная... страница...

И вот она писала – прятала, писала – прятала...

Ох и сладок запрет, до чего ж сладостен... Сладче пряников-оладьев, что на патоке (то тётушки пекут утречком: утри слюни-то – текут!), – куда как сладче!

Ух и сладок запрет, аль табу... будто по-учёному... по-печёному... сладче спелых терпких яблоков... ватрушек творожных... сочной... ну оч-ч-чень сладок...

А тут, что преступница какая, заметалась по комнатке – по светёлке по девичьей: взор рассеянный, руки чуж-чужи... замерла да призадумалась – очи в одну точку: глядят – не смигнут – а потом цоп свою драгоценную шкутулочку, шалочку на головку накинула, пальтишонко куценько нацепила на плечики, ноги в пимы сунула – и за дверь, за ворота – в темень, в стужу, в буран!

Бежит – не оглянется: зубы стучат, да ровно кто хватает за шйколки...

Лишь бы шкутулочку не выронить – не сронить!.. А буран, ишь, любопытничает: так и норовит протянуть свою лапу стариковскую, да ледяную что, да колючую-скорченную к сокровищу-то девичьему!

Бежит-бежит наша Катя: наелась уж холодного угощения, задыхается... а куда бежит – и сама не ведаёт... Остановилась: местечко облюбовала-высмотрела – простор-то какой, и луна вон будто Катюше подмигивает: не робей, дескать, девица, не робей, красная!

Извлекла из-за пазухи своё сокровище – не налюбуется! И давай, что собачонка, снег рыть-разрывать, снег-снежок: ух он колючий-злючий! А рукавички-то колом встали, а ручонки-то что кочерёжки какие: не слушаются – куражатся!

Вот выдохнула чуть-чуток – и опять за работу: пошла рыть-разрывать! Уж и рыла она рыла, рыла-рыла, рыла-рыла – после погладила свою драгоценную шкатулочку, что малое дитятко, ровно прощалась с ней, ненаглядной, на веки вечные! – и схоронила в ямке, да снежком и присыпала. Бе-е-ережно так онемевшими ручонками белый холмик утрамбовала – к марту ручьями омоется! – воткнула для приметы колышек – посидела-посидела девонька, да домой и побрела, к дому Чурову...

Пис-с-сала – прятала, пис-с-сала – прятала, пис-с-сала – засыпала песочечком-снежочечком... Снежок, он нежный, лакомый... но лакомиться опосля, опосля... Сопит-сопит, пустёхонька головушка, засыпает-засыпает... носиком шмыгает... заносит-заносит снежком-вьюжком... не видать ни зги, ни строчечки... Сгинули, сгинули...

И никаких сигналов: живы ли?..

Никаких сигналов – сгинули в снегу, как есть сгинули...

И на кого ж вы Катю-то нашу покинул-л-ли-и-и...

И что ж это: растает снежок – потекут ручьи – потекут ручьи словеса чернилам-м-ми-и-и... и засохнут, и забудутся... Ой и сгином сгинули...

Уж она рыскала-рыскала по белому по полю пустынному, уж она искала-искала: все глаза проглядела-выглядела – нет как нет холмика! И колышка н-не-е-ет!..

Уж она сокрушалась-сокрушалась, точно шалая, об своём об сокровище, уж она билась-билась головушкой – нет любого, нет желанного! Всё снег, окаянный, засыпал... Пропала, пропала её головушка!..

Опустилась наша Катя – бесси-и-ильно, словно колосочек подкошенный! – опустилась на снежное поле пустынное: раскраснелась, волосики взмокли, заиндевели, из-под шалочки поповыбились... а мокрущая вся, скомканная... Ах ты горемыка горемычная...

Так на снегу и сидела, ревя редела...

И вот сон Кате диковинный привиделся: вот будто свадьба, и будто ейна то свадьба, Катина, – она про то во сне ведаёт.

И вот свадьбу-то видит, а себя не видит: только на ноги свои и смотрит – белые туфлички, чулочки кружавчаты, платьице – всё как водится, всё как у людей – ан ничего-то боле и не видать.

Да и странно, жениха как нет – а гости едят-пируют и знать ничего не желают.

А он, жених-то, возьми да подойди к Кате с заду-то: подойди, да волосы-то свои ей на голову и накинь-перекинь! А волосья-то, слышь, так-таки и растут – прут что на дрожжах: седущие, длиннющие, колючие – личико застилают, по рукам-ногам выются!

И тут чует Катя: прилепились к ей те волосья, как есть к головушке приросли! Откинула она их, девица, белой рученькой – жениха высматривает, а его и след простыл!

А кой-то из гостей и крикни: дескать, и как ладно, что у невесты-то волос седой, – эдак-то и хватый не надобно! Крикнуть-то крикнул – и дальше пир ведёт. А Катя и впрямь ровно в фате: щупает кудри свои новые – а они точно шелковые сделались, да там мягкие, да пушистые...

А после и видит она: гроб на столе – как заместо угощения – а в гробе в том упокойница, младая невестушка! А уж что волосья-то у ей белым-белы, лицо закрывают, что тебе саваном...

И проснулась Катя, так и подскочила девчоночка... только и свистнула... а ужас-то что священный... страсти страшные...

– А ну, сказывай сон! – тётка прямою, тётка темою! И заглядывает в глаза тёмные Кате полоротой, одурманенной-придурочной.

– Да на ей ить лица нет! – друга тётка второю, контрапунктою! Экий какой канон чудной!

– А я что говорю? Сказывай! – Ну, Катя и рассказала всё как есть, ничего не утаила девонька. А тётки только руками-то и всплеснули, да запричитали, да заахали! О-хо-хо, что ж это будет-то?

– Так, гришь, девка, волосья седые? – и качают головами, переглядываются. – Ой, не к добру это, не к добру...

– Ну ладно! – тётушка сердобольная!

– Да что ладно-то? У нас вон одна во сне волос седой увидала, Кривошеина-старуха, скотница...

А другая тётка встречает rispостою... супостатка постылая... пропастина:

– «Скотница»! Птичница она: у ей петух ишшо вырвался да промежду пальцев и кукукнул! – и ухмыляется: дескать, туда ж!

– А-а! – протянула наивная тётка. – Твоя правда, сестра, кукукнул так кукукнул: раскукукнул... ага... и не соврешь... Так она, Кривошеина-то, птичница, – я и говорю, – а только увидь она во сне волос седой – жёсткий, ну что свинячий кабудьто!

– Да ты-то ишшупала нешто? – другая тётка! И головой мотает!

– Да ну тебе совсем... Так она, птичница-то, и овдовела... а ты говоришь... так-то вот! – ух, победила! Довольнёншенька! Губу закусила!

– У-у, полно брехать-то! – не унимается тётка-правдолюбца. – Овдовела-то она уж через три года!

– Эх, сестра! – и выдохнет, и головой качнёт: дескать, и не разумеешь-то ты ничегошеньки! – Дык ить сон-то и обождать может!

– Это как? – не утерпела Катя: глазёнки вон выпучила.

– Да как: обождёт-обождёт – а опосля явью и явится... вона как...

– Чего ты девчонке голову морочишь? Чего мордуешься? Она и так сидит глуподурая! Ну пошто рот-от раззявила? – Кате-то. – Полоротая.

– А ты помнишь, сестра, – зачнёт снова-сызноа тётка пропостою, – у нас погорельцы стояли?

– Это мужчины всё такие видные, полные, бородатые, а меж их одна только женчина, погорелица? – другая тётка.

– Они самые, погорельцы погорелые. Стояли у нас, ага.

– Ну как не помнить – помню-мню, – и поглядывает на сестру недоверчиво, глядит неласково: дескать, уж памятью она не мается – не сумлевается!

– Так она, погорелица-то, тоже вот волос седой во сне увидала...

– О! Ты-то всё про всё знаешь, чего и быть не было, ведом ведаешь! – и дуется на сестру!

– Дак она сама сказывала: волос, грит, такой длиннющий видала – к чему бы, мол, этакой сон? Ну, мы ей сейчас и надоумили: ступай-де к отцу Серафиму (то поп наш, батюшко Серафим был: видный такой мужчина, полный, бородатый – и жена у его была, у покойника, попадьица, и дочь, поповна...). Она, погорелица-то, и пошла к ему – он это сны очень чинно истолковывал. Вот приходит она к ему в избу-то, а он, батюшко-от, только что откушал – бородёночку-то оглаживает, роток крестит. Так и так, мол, здорово живёшь, отче Серафим, – а он ей: дескать, ты уж звиняй мене, дочерь моя, а не зову тебе с собою трапезы трапезовать – сама, мол, видишь, только откушал, – да крошечки-то со стола смёл, да в роток и закинул. Ну, погорелица и давай ему сон свой сказывать, а отца-то сморило: сидит зевает, брюхо поглаживает... ага... Ну, он, правда, всё честь по чести выслушал: это, грит, тебе вдоветь иль гореть, дочерь моя! – и глазами ка-а-ак сверкнёт – мамушки родные! – и погорелицу-то перстом

огненным и окрестил! Что ж это, батюшко, я, грит, уж и вдовая, уж и погорелая? А отец Серафим эдак усмехнулся и отвечает: оно, грит, ничего, оно, грит, бывает: это, мол, сон жизнь догнал! Изрёк – да и почивать пошёл. А только попадя, поди ты, сейчас погорелицу и манит пальчиком: ты-де не слушай его – он всем одно и то ж рассказывает – ты мене слушай... – тётка вдруг прикусила язык: сидит, будто баба каменная, обернуться не обернётся – потому точно спиной что чувствует... Царица Небесная!.. И другая тётка: побледнела-то, толстогубая, вон ровно белёное полотно! Что такое?

– Нет, ну ты глянь-ка, а? – баушка Чуриха!!! – Я по всей избе веретеном верчусь: иде девки, куды запропали-попрятались? – а оне тутотко! У, халды, вещуньи проклятущие, пусто-языни чёртовы! Дела им нету, халдюжницам! – Тётки глаза попускали стыдливые, сидят не шелёхнутся – недохнут! – Ягод эдакую прорву понарвали-понабрали! Я уж и перебрала, и понамыла, и огонь зажгла: иде девки? У, халдюги! Окны вон понаоткрывали – сейчас пылица налипнет-насядет – будете хрустеть-скрепетать, зубьями скрежетать, уголь жрать-жевать... Ишь, язычинами-то пошли чесать, вещуньи проклятущие!.. Только вот хто буйт спрядать да вервие свивать?..

Диковинными, ой диковинными слышались речи те детинушке нашей Катеринушке – она возьми да и вскричи:

– Я свивать, я спрядать буду! – а сама и не ведаёт, про что речь-реченьку ведёт: так напужалась, к подушке прижалась – дрожит ровно осиново лист!

Тут баушка на дурицу и оглянись – да ка-а-ак цыкнет, ка-а-ак зубьями-то скрипнет – из неё, из Кати-то, вмиг вся хворь да дурь и выскочила: что колом тем осиново её и поповышибло!

Тётки – варенье варить, а Катя-то како же? Катя-то сызнава в неведении?..

Так она, Катя-то, что удумала, экую страсть: словеса-то, ровно волоса, поповырастают, опосля выпадают, а иные, дескать, и седеют!

Что деецца-то с девкой! И ведать ни единая душа не ведаёт!

И на какую лавку в избе ни присядь – а у ей, у Катерины нашей, книжка везде припрятана (когда и раскрытая, книжка-то) – вот она сейчас и покраснеет, Катя-то, – книжку цоп, да и приберёт, да и просунет меж книг иных... а и чего краснела-то – ин жаром каким пышет! – и чего книжку-то эту самую таила-утаивала: книжка, она и есть книжка! – и сама знать не знает: руки, что плети, опустит и стоит себе алеет, цвет маков!

Эвон, пуще прежнего зардеет!

– Делом займись! – тётки ей.

И пошто вы, тётушки, причитаёте-перешёптываетесь, почто пошли точить читательницу нашу нерадивую?..

И нешто неприличие какое рассказывают в книжках тех? Аль стихов хитросплетенье узорчатое, что и не разобрать глазу немудрствующему? А расплети ты их – слова как слова? Русые да простоволосые?..

И никто-то, ни един-единая душа, не мял ейна тела рыхлого да белого, что пышичем пышет, ароматом ароматным морит, – и томилось тело белое, румяное до поры до времени, задыхалось наливное спелое яблочко!

И никто-то во всём свете белом не испил сока, что источала наша лапушка, – и бродили соки, перебраживали, сбитнем сбивались!

А уж что томилась милая, что маялась маем наша красная девица: изошла на муки мученические, изболелась болью тягостной, страдала горемычная! Ныла каждая клеточка, каждая косточка, каждая жилочка-прожилочка, волосиночка самая малая, родинка еле приметная... родимая ты головушка... свет Катеринушка... душенька чистая... Потерпи-стерпи часок-дру-

гой, повремени времечко временно... потерпи... пока раным-ранёшенько... ты покуда дети-нушка...

Смилоствовались тётушки добрые: только баушка Чуриха глаз сомкнёт, носом заклюёт – почивать почивает – сейчас за околицу, да Косточку – а тот уж и ждёт-пождёт, дожждаться не дождётся! – да за белы рученьки, да тайком-тайнёшенько провожают до кровинушки свет-Катеринушки – а что Катюша-то наша зарумянится-зардеется, очи долу, голубица ты ясная, девица красная, стыдливая родимая головушка!

Ох и тётки вы, тётушки, подруженьки-наперсницы, и опасную игру вы затеяли – не испужались бы, не оступились!

А уж что шумят-то, шебуршат, шушукаются у дверей у заветных у Катиных! Родимые матушки! Шуметь шумят – а войтить не войдут: слово дадено!

Катюшка же наша – вот ведь русалка бесстыжая! – почитай пред самыми очами разлюбезных тётушек с голубком своим милуется-целуется – а поцелуй те что подснежники нежные, золотистым апрельским солнышком подрумяненные!

Миловаться-то милуется с Косточкой, а думу тайную, сердечную бережёт для отца его, для Павла для Фёдорыча, и послания шлёт ему девичьи невинные уж который срок! Аль то мнится ей толь, мечтательнице...

А и ведасть не ведает наша Катя ласковая, что послания те не дойдут до друга разлюбезного, что Косточка допрежь того раскрывает листки белые, распечатывает, его душенькой-голубушкой испещрённые!

Распечатает, прочтёт... и в печь... ох, горе горькое... неизречённое... И сызнова за околицу... Чуров дом отовсюду виднеется...

А открой баушка глазок, открой другой – сейчас Косточку и за порог, да когда ещё и прикрикнут, когда и цыкнут на мальчонка: дескать, ходют тут всякие-якие! Эх вы тётки сметливые! И что удумают! Аль сама она, Катя, удумала?..

А только тут Катюшка-то наша шумливая точно язык и проглоти: нешто тишак ей, девчончишку, в язык-то щелканул – как есть, щелканул!

Сама Катя-то тише тихого, а глазом раскосым знай за Косточкой доглядывает. Долго ли коротко ль в гляделки играть игралось: знамо дело, долгонько – не стерпела Катюша наша, никак с большущей тишиной не обыкнется:

– А что у Кати есть? – так, знаешь, и выкатилось из роточка камушком! – Слово заветное – вот что! – Косточка и обороти к ней личико своё заморожённое: пропал, пропал пропадом мальчишечко!

– И ты его ведаешь?.. – и выдохнуть не выдохнул, а Катюшка уж зашептала шепотком, да на ушко – и послушал бы, да не слышечко!

И какими-такими оборотами речь свою оборачивала Катерина наша затейливая – одному Господу то ведомо, да только с тех пор Косточка-то-Константин что дурень будто сделался: нешто приворотнем приворожила его Катя-то?..

Взмокла, смолкла: дождь не щадил – душил, сёк, косой...

Косточка глянул ей в очи – тонет, тонет... конец... Волосы – волн барашки: вот-вот накроют тебя, пловец... барахтайся-барахтайся...

И не поймёшь ты ей, не спознаешь – не сведаешь: аль она взрослая девица – али дитятко малое, неразумное?

Вот Косточка хвастать:

– А у меня папа...

А Катитка ему:

– Подумаешь! А у меня папа... – и только глазёнки закатыт, только удумку какую створить замыслит – сейчас баушка Чуриха пред очами явится – ровнёхонько она ловит Катюшкины словечки! – и зашипит:

– Катя! Ишь, вещунья проклятая! – и пойдёт шерстить девчушку нашу речистую-пречистую! – Чур на тебе, прикуси язычино!

– А у мамы-то у моей глаза такие... ну вот что невымытые виноградины... – и застыдается: можно ль так говорить о матери? Ох и грех, ох и тяжка-а-ай! Грех грызёт орех... – Вот как у куклы Зорьки, когда мы её в лужу окунули... – и запылала что маков цвет! И пошто маму в лужу окунули... жалко... Она обмоет... омоет...

– И ноет, и ноет! Житья ж никакого! – А Катя уж закатилась: э-эх!..

Лишь единожды переступал порог Чурова дома почтеннейший Пал Фёдорыч, один разочек – и то, взошед на приступочек, так с приступочка и вещал, тишайший Пал Фёдорыч. И молвил он:

– Авдотьюшка, Глашенька, соседушки! – и страшным-страшным зажурчали речи те в ушках малышки Катеринушки – и зажала она ушки, не вынесла: защемило сердечко у малой детушки! – Баушка Луша, душенька! – и молил, и взывал, и алкал алчбою бесстыдною! – В гошпиталь, в гошпиталь свезти бы Катюшину матушку! Баушка Луша, уж лучше... – А Чуриха шелуху-то с губ сплюнула, да и шепнула: «Пёс шелудивый!» – Баушка Лукерья... – Лукавый его попутал – и кулёчек-то пустёхонький скомкала, да просителю, другу ситному, в макушку, в самую что маковку и запустила.

– Изыди, злыдня, изверг ты! Не то толкану – свету белого невзвидишь! – изрыгнула; сама что злоехидна ягинишна, старуха старая Чуриха! Загородила все входы-выходы, руки, точно ветки сухие, скрюченные, крестом раскорячила!

Увезли-свезли Катюшину матушку, не послушали баушки Чурихи, увезли-свезли за речку за Кочумаевку, за Чуров дом, за Коченёвский край. А как возвратились, и не видал никто: тьма тьмущая, кромешная...

Лишь единожды перешла порог дома славного Пал Фёдорыча баушка Чуриха...

– Зарезал!!! – и ручонкой окрест себя замахала, и тихохонько под нос зашептала... чур-чур... Прокляла проклятием, что печатью припечатала, место сие окаянное!

Смерть матери страшна... шш...

Уж куда как страшна смертуш-ш-шка, да родимой да матуш-ш-шки... тш... шш... шш...

Вот альбом возьмут – большущий, глянцевый! – так из рук салазками и выскользывает! А уж что красота, красотища что! У нашей Катюшки глазёнки-то и забегают: вот бы ей, да похожей стать, да на...

– Ты какую выбираешь сторону? – крикнет Катерина наша нетерпеливая. Костя толь плечики эдак сведёт: дескать, и не всё ль равно? – Ну, какую? – не унимается Катя.

– Любую? – а сам любитесь на нашу румяненную, кудрявенную головушку! Ах ты куколка!

– Ну, я так не играю! – губушки расквасит, глаз свой хитрущий сощурит! Ах ты! – Кто чурачил, тот и начал! – и считать примется: а считалочка страшная-престрашная – то Катю сама баушка Чуриха выучила! Ой и страшная! – Чуши-боры, кишки перепрели – собаки

поели! – выдохнет, тряхнёт головёнкою. – Тебе левая... нет, ещё разок... Чуши-боры, кишки перепрели – собаки поели... правая...

Вот примутся листать альбом-то: всё, что слева, – Катино, а всё, что справа, – Костино. Вот листают-листают: у Катюшки глазёнки горят, щёчки пылают, волосёнки взмокли... до чего ж ладно... красиво до чего... А Костя знай своё: какую картинку увидит – всё на Катю на его похожа! – сейчас и кричит отцу:

– Пап, а правда Катя на инфанту Маргариту похожа?

– Правда, сынок, правда, – отец ему из соседней комнаты. Вот дальше листают.

– А на Марию, что во храм вводят?

– Угу...

– А на Венеру богтичеллеву? – и стыдливо-невинно очи опускает.

Растёт наша Катя, растёт: день ото дня всё краше и краше! Вон как заалелась-то, бедовая головушка! Локон на пальчик накрутит, а он, локон-то, что змейка золотистая, обовьётся вокруг пальчика вокруг розового! Ух и Катя!

Растёт наша Катя, да всё хорошеет... Только она того и знать-то не знает, и ведать-то не ведаёт по-прежнему! Ах ты Катя ты раската... А тут тётки ещё научают: дескать, чего девка не знает, то её и красит. Вот оно как...

– А это, – Пал Фёдорыч подойдёт к нашим голубкам, – мама твоя... И что-то странное мелькнёт в очах почтеннейшего Пал Фёдорыча, что-то диковинное... Катя бровки-то вскинет – а он уж ушёл в соседнюю комнату... И зажмурится, зажмурится Катерина наша непутёвая, эдак зажмурится, что увидит там, на самом дне глаз... Ой, страшно... Матери-то она совсем-совсеमुшки не помнит! Не помнит лица её... только вот этот портрет... откуда-то из глубины вынырнул: доченька... нет, нет... страшно... И уткнётся мордочкой Катитка в картинку глянецую...

– А что у Кати есть? – и на Косточку глаз свой русалочий скосила, а самой уж и немого! – Бежим на Кочумаевку!

– С тобой хоть на край света! – только и выговорит Косточка – и бегом во весь дух за Катю! Ах ты Катя ты Катитка, Катитка-волхвйтка, буйная головушка! Бежать-то бежит, да сама себе под нос и бунчит скороговорку какую важную, бунчит, что палочками по барабану выстукивает:

– Секре-е-етик сокрыт, а та-а-айна истаяла, секре-е-етик сокрыт, а та-а-айна истаяла... – Эх ты Катя ты Катя! И что это она вечно удумает! Удумщица мудрёная, дурёшка шумливая... – Вот... только ты глаза закрой... не открывай, не открывай!.. – и сейчас землю рыть! – Не смотри... не смотри... – Костя и глянул: картинка – та, что Пал Фёдорыч Кате подарил, – под стёклышком под зелёным схоронена. – Только никому! – и грозит грязным пальчиком. – Это секретик... – и на ушкб: зашептала-то, зашептала: – Матушка... Зачурай, зачурай... Чур-чур-чур... – и примяла землицу ладошкой.

Матушка уж не тутошняя – тамошняя... матушка...

Туман над Кочумаевкой...

И как Цвирбулин живёт-мается – Цвирбулин да жинка его, тётка Цвирбулиха, – в книжках про таких ладно сказывают: коснеющая-де (это тётка-то, Цвирбулиха-то! – и удумает же читательница наша ретивая Катеринушка!)... коснеющая-де в вечной вертлявости... и в прочем... коснеющая... ишь, шельма, словцо прознала новое: липнем прилепилось... Потому бегом бегала, почитай всю дорогу бегала – тётка-то Цвирбулиха, стало, и коснеющая! Ну Катяша! Упором упирается – со словечком никак не расстанется... За сынками своими двумя бегала – их, сынков-то, почитай никто и видом не видывал, что они такое есть, чем прозыва-

ются, – на слово Цвирбулихе и верили: потому бегала – рябь рябила бешеная от ейных пробежек-то.

Так и случай был-случился: мальчонки коченёвские сказывали. Затеяли они, мальчонки-то, речку Кочумаевку переплыть. А Катюшка-то мосточком-мосточком, да на другой бережок, платочком манит: доплыви-де мил-дружок.

Сашка Заиграев плывёт – не плывёт – гармонь по речке по Кочумаевке – всё на Катю поглядывает: взыграло ретивое! И другой плывёт, и третий, и Косточка за ими: да всё так, больше воду хлебает.

Тут и тётка Цвирбулиха: а что запыхалась-то, что упрела-то, родимые матушки!

– Ой ли, добры млады व्यюноши, – кричит. – Да не видали ль вы что сынов моих, двух славных молодцев? Запропали где, мать оставили-покинули! – и, ответа не дождав, сызнава бежать, сыском сыскивать, я чай, своих кровинушек.

Вот тогда-то бабы злоязыкие и пустили молву – рябью Кочумаевка подёрнулась: чело своё высокое наморщила! – дескать, утопли два утопленника, два добра молодца век свой кончили в речке Кочумаевке.

А мальчонки-то, коих вопрошала тётка Цвирбулиха вопросом «не видали ли», переглянулись промеж себя: не видали! – и с молвой коченёвской спорить не спорили. Да и то, отродясь их никто не видывал, соколиков-утопленников, да и слыхом никто не слыхивал, родимых-то, молвы сей пленников, да и от них, вправду сказать, никто дурного слова не слыхивал – ни за что пропали-сгинули, не сыскать-то теперь не выискать!

Вот, стало, бегала она разбегала, тётка Цвирбулиха, рябь в глазах рябила бешеная от её пробежек-то – а после: что такое, рябь, да об землю бряк? – рябь иде?

Очи продрали, коченёвские-то, – ан тётка-то Цвирбулиха ровно в Лету какую канула – накануне ещё видали ей – нынче поминай как звали! В Лету, да нынешним летом, – а бабы-то всё больше на Кочумаевку указывают: дескать, там ей след и простыл.

И следователь был – в рябь кочумаевскую вглядывался-вглядывался – опосля и он сплыл: был да сплыл.

Другой наведывался, следователь. Тот, минуя тутошних вещуний, сейчас к Чурихе: рас-толкуй-де, старыца, самому не справиться: так, мол, и так, а спомошествоуй ты сыскать гражданку такую-то, тогда-то и там-то запропавшую, а обстоятельства, сказывает, невыясненные, куда как странные-престранные.

Бабы ну судачить: страсть! – а Чуриха ему, следователю-то:

– Следователь-следователь, а ты речку-то поспрошай-повыспроси: Кочумаевка, пошто мучаешь тело убиенной тобою стратотерпицы?

Следователь на ус-то наматывает баушкины словеса, а что очей-то пылающих с Катерины не сводит – вот в чём вся закавыка, всё двоеточие! А ему очи-то пылающие не след – ему, следователю-то, смертоубийство на шею скакнуло. А он знай своё: вот уж и кажен день кажет свои очи, да на Катерину заглядом заглядывается, а след-то меж тем пуце прежнего простыл – почитай окоченел совсем, да концы-то в воду, в саму Кочумаевку...

– А лупа есть у вас? – да пулею перемётною в горницу, горит, зарделась, дерзновенная! Ах ты Катя ты Катя, лапушка!

– А на что мене лупа? – ей следователь. И глазами лупает. – Я тебе, такую кралечку, и на край света сбежишь – высмотрю! – Ах ты паря ты парубок, так и рубит с плеча, да щепу не берёт – всё полена, круглые да гладкие!

Чуриха его, следователя-то – расследователя, уж и на порог пушать перестала: глядишь, вызнает-поповызнает – да не то!

Потолковала, посудачила с дочерьми своими разлюбезными – Авдотьицей да Гланьшею (меньшуху-то, меньшую, схоронила дочь... эх, время ты времечко... не воротишь родное семечко...) – да порешила Галину ему следом выслать постылуку: дескать, пушай укажет ему

путь-дорожку к Кочумаевке, следователю-то, да стыдом пристыдит: мол, и что эт ты, мил друг следователь, не дела пытаешь, а от дела лытаешь? – можа, кашу каку не таку с им и сварят... прости Господи!

Вот Галину-то взашей вытолкали баушка добрая да со тётушками – а та упором упирается, точно кобыла необъезженная, брыкается! – а он, следователь, как увидал её, «не то» да «не то» кричит, что оглашенный, родимые мои матушки! Сам криком кричит – да Катерину, зазнобу свою, всё выглядывает – а та, румяненная, за занавескою затаилася, стоит вздыхает! И что делать с девкою?

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.